

## БОРИС ШАПИРО • ТУЛИН

Эта книга уникальна. Она – воспоминание о безвозвратно ушедшем времени. В ней сохраняется интонация еврейского анекдота, юмора, направленного на себя...

**Людмила Улицкая**



**Один счастливый  
случай,**

ИЛИ

БОБРУЙСКИЕ ЖИЗНЕЛЮБЫ

Бобруйск forever. Проза Бориса Шапиро-Тулина

Борис Шапиро-Тулин

**Один счастливый случай,  
или Бобруйские жизнелюбы**

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

### **Шапиро-Тулин Б.**

Один счастливый случай, или Бобруйские жизнелюбы /  
Б. Шапиро-Тулин — «Эксмо», 2016 — (Бобруйск forever. Проза  
Бориса Шапиро-Тулина)

ISBN 978-5-699-84194-3

У Илюши Лашкевича оставался ровно год до того момента, когда жизнь его должна была перевалить за тридцатилетний рубеж. Встретить приближающуюся годовщину он хотел, реализовав два своих самых сокровенных желания. Первым было – вступить в партию, вторым – жениться. Впрочем, можно было и наоборот: вначале жениться, а потом уже подавать заявление в партию. Рассматривался и третий вариант – сделать все это одновременно, но выглядел он совсем уж фантастически. Если вы хотите знать, почему Илюшу Лашкевича стали называть «Илюша-счастливчик», какой секрет скрывал Наум Гиршик и как помог Вертинский Давиду Нименману встретить свою любовь – читайте сборник Бориса Шапиро-Тулина про странных, смешных, но самых настоящих бобруйских жизнелюбов

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-84194-3

© Шапиро-Тулин Б., 2016  
© Эксмо, 2016

## Содержание

Предисловие. Прощай, Идишланд!	6
Предисловие автора	8
Маэстро Голубецкий	10
Сапожник Шолом	13
Монче	19
Саса-Шпутник	23
Счастье Лашкевича	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# **Борис Шапиро-Тулин**

## **Один счастливый случай, или Бобруйские жизнелюбы**

Иллюстрация на обложке Алексея Жижицы

Иллюстрации Михаила Соркина

© Шапиро-Тулин Б., текст, 2016

© Соркин М., иллюстрации, 2016

© Жижица А., иллюстрация на переплете, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

\* \* \*

## Предисловие. Прощай, Идишланд!

Эта книга в своем роде уникальна. Она скорей всего представляет собой последнее послание из Идишланда, страны, которой никогда не было на карте и которая закончила свое существование во время Второй мировой войны, когда еврейское население Восточной Европы было на две трети уничтожено, а сама культура – хрупкая культура блуждающих по чужим странам из века в век, говорящих на языке идиш людей, – почти растворилась. Двадцать веков изгнания сформировали специфическую культуру, которая уже на глазах нашего поколения полностью ушла в прошлое.

Сегодня в Белоруссии, в Украине, на юге России не осталось ни еврейских местечек, ни маленьких городков, где она процветала. Но сохранились еще воспоминания тех, кто в детстве застал этот бедный своеобразный быт ремесленников и мелких торговцев, семейную тесноту и теплоту жизни. Эти чудом пережившие войну или рожденные уже после войны дети получали образование в русских университетах и институтах, в хедер не ходили, многие из них не знали идиша, не говоря уже об иврите, в любви объяснялись по-русски, ругались тоже по-русски, потому что русский язык был их единственным языком.



Предлагаемая книга – воспоминание о безвозвратно ушедшем времени, памятник предкам и культуре, которой больше нет. В ней сохраняется, несомненно, интонация еврейского анекдота, юмора, направленного на себя, а не на собеседника, немного средневековой мистики, намерение укрыть мучительное и страшное под покровом шутки... Ничего драматического, жизнь продолжается, народ жив: дети местечковых сапожников и портных стали инженерами, врачами, учеными, расселились по миру, построили новое еврейское государство, забыли язык дедушек и бабушек, но выучили новые языки и возродили иврит.

Прощай, Идишланд! – с любовью и нежностью говорит автор книги о Бобруйске Борис Шапиро-Тулин.

*Людмила Улицкая*

*Светлой памяти моих родителей посвящаю*

## Предисловие автора

В нашем городе не было уличных фонарей. Хотя столбы поставили и даже вкрутили лампочки, прикрываемые небольшими металлическими абажурами. Но по неизвестной причине никто и никогда их почему-то не включал.

Справедливости ради надо сказать, что на привокзальной площади одна лампочка все-таки горела. Однако желтое пятно ее света, постоянно раскачивающееся под порывами ветра, вместо успокоения вселяло необъяснимое чувство тревоги.

Впрочем, существовало еще одно исключение. Располагалось оно на уцелевшем с незапамятных времен вычурном деревянном особняке с маленькими и круглыми, наподобие иллюминаторов, окнами по фасаду первого этажа и огромным овальным окном под куполообразной крышей мезонина.

До революции непривычное глазу строение принадлежало местному генерал-губернатору. И хотя фамилия городского начальника была Муравьев, молва приписывала ему родство по внучатой линии с самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Это была единственная заслуга генерал-губернатора, оставшаяся в памяти у обывателей, поскольку больше ничем в истории города, кроме как названием улицы Муравьевская, где стоял странный особняк, потомок солнца российской поэзии проявить себя не смог либо не успел.

Впрочем, название это продержалось недолго. Во времена, когда начался судорожный зуд переименований, бывшей Муравьевской присвоили имя Карла Либкнехта, а потом почему-то превратили в улицу писателя Гоголя, в просторечии – Гоголевскую.

По табельным праздникам именно на Гоголевской местной публике являли чудо электрификации. Для этих целей овальное окно под крышей генерал-губернаторского дома забивали листами фанеры, а к ним крепили огромный портрет любимого Вождя и Учителя.

Каждый раз, когда одновременно зажигались все лампочки, вмонтированные в раму портрета, собравшиеся на это действие начинали хором считать вспыхнувшие огоньки. И каждый раз, к восторгу и изумлению почтеннейшей публики, их оказывалось ровно шестьдесят четыре. Столько же, сколько было в прошлые годы и, как подозревали многие, будет всегда.

После подсчета лампочек все напряженно ждали момента, когда полотно, на котором был изображен Генералиссимус Всея Руси, начинало слегка колебаться под порывами ветра. В эти минуты возникала полная иллюзия того, что глаза небожителя вылезали из орбит, а рот, прикрытый усами, кривился в презрительной усмешке.

С тех пор особняк на Гоголевской стали втихаря называть «Сталин в лампочках», а место это многих притягивало к себе каким-то мистическим ужасом и острым ощущением статьи 58 Уголовного кодекса, определявшей срок «за контрреволюционную агитацию и пропаганду».

«Сталин в лампочках» – одно из ярких впечатлений моего детства, чистого, как окна, вымытые перед Пасхой. Воспоминания о тех годах оказались рассыпанными по страницам большинства моих книг. Происходило все это как-то само собой. Просто какую бы тему я ни начинал, о каких героях ни рассказывал, внутри меня постоянно проступала одна, может быть, самая важная моя книга. Книга о том, чего уже нет, и о тех, кого никогда уже не будет. Все это, давным-давно ушедшее, осталось во мне подобно тому, как в подпорченной временем раме упавшего со стены зеркала остаются небольшие осколки, зацепившиеся за эту самую раму. Все вместе они уже не могут отразить единую картину, но каждый из них все еще сохраняет в себе кусочек разлетевшегося вдребезги мира, какой-то фрагмент, какую-то малую часть его.

В начале моей жизни я сам был как зеркало, отражая все, что происходило вокруг, а потому не отделяя себя от окружающих событий. Но потом наступил момент, когда я смог посмотреть на все это уже не изнутри, а снаружи, когда я вдруг остро ощутил, что существую в

неких координатах своей личной судьбы, причудливо переплетенных с координатами судьбы моего города и каждого отдельного человека, живущего в нем.

А еще я вдруг понял, что, подобно описанному в Апокалипсисе Иерусалиму небесному, который являлся духовной копией Иерусалима земного, точно так же существует и некий небесный Бобруйск – точная духовная копия города, от которого в том виде, в каком я его знал, не осталось и следа. И только в царапающих осколках моей памяти сохранился еще чей-то смех, запах жаренной на раскаленной сковороде картошки и фрагмент заброшенного могильного камня, где на шероховатой поверхности уже проступили зеленые пятна атакующих его мхов.



И тогда определенного рода прозрением стало для меня понимание того, что все эти люди, окружавшие меня, жили не на улицах под названием Советская или Коммунистическая. Все они все еще жили на Шмоче-гасс, Шлимазул-стрит или Вейсмир-штрассе. А город делился не на Первомайский или Ворошиловский район, а по-прежнему на район Пески, Скотобойня, Минский план или Фортштадт.

– Все было, что было, и все будет, что будет, – говаривал фотограф на рынке, усаживая перед объективом очередного клиента, – а потому, любезнейший, – продолжал он, – надо просто улыбнуться и ждать, когда вылетит птичка.

С тех пор я никогда больше не видел фотографий, вклеиваемых в паспорта, на которых бы люди так радостно улыбались обманувшей их птичке. О, это были настоящие жизнелюбы, бобруйские жизнелюбы.

P.S. Для особо любознательных. Имена героев, названия учреждений, а также смена времен года в городе Бобруйске являются абсолютным вымыслом. Все остальное – чистая правда.

## Маэстро Голубецкий

Событию, о котором идет речь, предшествовала одна история, и поскольку о ней говорил тогда весь город, я не думаю, что рассказ об этом может выдать чью-либо тайну.

Все началось с того, что мой сосед, наборщик местной типографии, зашел в кабинет к директору и положил на стол заявление с просьбой предоставить ему один день в счет будущего отпуска.

– Что такое? – спросил директор.

– Брат, – ответил мой сосед и поднял глаза к потолку.

– Не может быть, такой молодой, – огорчился директор.

– Может, – сказал мой сосед и тяжело вздохнул.

То, что случилось с братом моего соседа, могло случиться с любым молодым человеком, – он женился. Но партия, которую он решил составить, была, по мнению его родных, такой неподходящей, что сам факт свадьбы рассматривался ими как горестная и невосполнимая утрата.

Я не буду останавливаться подробно на истории вражды между мамой жениха и мамой будущей невестки, отмечу только, что мой тогдашний сосед ни в коей мере не хотел вводить в заблуждение директора типографии, просто он был человеком начитанным и любил аллегории.

– Завтра мы провожаем его от нас навсегда, – сказал он.

Директор типографии тоже был человеком начитанным, но воспринимал жизнь несколько прямолинейно.

– Чем я могу тебе помочь? – спросил он, подписывая заявление.

Мой сосед молча развел руками и направился к двери.

– Как у вас с оркестром? – спросил директор.

– Зачем, – сказал мой сосед, – вы думаете, там нам будет весело?

Директор пропустил это странное замечание мимо ушей. Он вызвал к себе главного бухгалтера, и вскоре вопрос об оркестре для похорон брата лучшего наборщика типографии был решен.

Самым подходящим для подобных случаев считался оркестр местной художественной мастерской под управлением маэстро Голубецкого. Стоил он достаточно дорого, но зато, когда маэстро Голубецкий ударял колотушкой по своему барабану, стекла в витринах местных торговых заведений долго дрожали в такт траурному ритму.

В назначенный день маэстро получил деньги и привел музыкантов к деревянному дому, имевшему два выхода с разных сторон. Он усадил своих виртуозов на травку в тени забора, а сам отправился выяснять, откуда будут выносить. Первый вход был заперт, потому что мой сосед и его мама отправились все-таки во Дворец бракосочетания, чтобы хоть издали посмотреть, как родной им человек переходит в стан заклятых врагов. У второго входа стояла заплаканная мадам Цыплакович.

– Отсюда? – спросил маэстро.

– Отсюда, – ответила мадам Цыплакович и прижала платок к покрасневшим глазам.

Маэстро Голубецкий отошел в тень, расслабил черный галстук и достал из кармана завернутый в салфетку бутерброд. Мадам Цыплакович осталась стоять около дверей. Она ждала машину, на которой должны были отвезти в комиссионный магазин старый зеркальный шкаф. Сколько помнила себя мадам Цыплакович, столько помнила она и этот шкаф. В нем с незапамятных времен хранились самые дорогие семейные реликвии. Но дети купили новый немецкий гарнитур, и старый зеркальный шкаф пришлось отдавать в чужие руки.



Когда машина подъехала, слезы у мадам Цыплакович уже лились ручьем. Грузчики откинули борта грузовика и прошли вслед за ней в дом. Маэстро Голубецкий поднял музыкантов.

– Как вы несете, чтоб вам было пусто! – кричала, пятась задом, мадам Цыплакович. – Разве вас не учили, как это делается?

Маэстро Голубецкий не любил смотреть на покойников, поэтому он поднял глаза к небу и ударил по барабану. Стекла в соседних домах задребезжали. Но стройной мелодии не получилось. Вначале сбился кларнет. Потом замолчала труба. Потом лопнула струна у скрипки. Маэстро Голубецкий посмотрел на машину и увидел собственное отражение. Он стоял с барабаном через плечо, с поднятой для удара колотушкой, а за ним сбились в кучу музыканты.

Когда маэстро понял, что это всего лишь лежащий на боку старый зеркальный шкаф, он снял ляжку барабана, поправил галстук и направился к мадам Цыплакович.

– Что такое, – спросил ее маэстро, – теперь это новая мода?

– Мода? – в свою очередь спросила мадам Цыплакович. – Какая мода, если в этом шкафу мама хранила все то, что осталось от бабушки, а я хранила все то, что осталось от моей бедной мамы. Да вам, в конце концов, какое дело? – И она снова залилась слезами.

Маэстро Голубецкий отошел, ничего не понимая. Ясно ему было только одно: если в этом шкафу лежало все, что осталось от бабушки мадам Цыплакович, а потом от ее мамы, то заплатили им до смешного мало. Музыканты стояли около забора и тряслись от хохота. Маэстро медленно приблизился к своему барабану и ударил по нему с такой силой, что натянутая кожа лопнула, издав странный всхлипнувший звук.



С тех пор во время похоронных процессий окна в нашем маленьком городке не дрожали, а маэстро Голубецкий запил и целиком отдался чистому искусству, обновляя вывески и рисуя плакаты, украшавшие улицы ко всем табельным праздникам. Он не сомневался в том, что стал жертвой злого розыгрыша, что завистники таким образом надругались над непревзойденным талантом маэстро траурных церемоний.

Что касается мадам Цыплакович, то Голубецкий нашел способ отомстить ей за свое унижение. К очередной годовщине Октябрьской революции на здании горисполкома появился плакат: вооруженные матросы шли на приступ гидры, олицетворявшей прогнивший режим. Гидра была как две капли воды похожа на мадам Цыплакович, одетую почему-то в розовый пеньюар и кирзовые сапоги, на голове у нее вместо прически художник изобразил клубок ядовитых змей. И надо сказать, плакат этот пользовался большой популярностью среди местных любителей живописи.

## Сапожник Шолом

Когда-то пригород нашего маленького города назывался Пески. Начинался он прямо за железной дорогой и кончался на крутом речном обрыве. Проезжую часть много лет назад вымостили булыжниками и обсадили тополями. Тротуары время от времени покрывали асфальтом, который почему-то всякий раз давал трещины и расползался в разные стороны, обнажая скрывающиеся под ним белые песчаные проталины. Дальше, ближе к реке, кончался уже и асфальт, и булыжник, и тополя. Канавы вдоль почерневших от времени заборов поросли травой, а на середине улицы суетились пугливые куры.

В детстве, когда я начинал себя плохо вести, меня обычно пугали тем, что отведут на Пески и отдадут сапожнику Шолому.

Сапожник Шолом был не то чтобы местной достопримечательностью, но фигурой достаточно знаковой. Сидел он обычно на маленькой, обшитой кожей табуретке перед низким столиком, заваленным всевозможными сапожными принадлежностями. Рабочее его место находилось прямо под окнами собственного дома в той части улицы, которая была еще обсажена тополями. Был он небольшого роста, круглый, как пивной бочонок, и казался засаленным от кепки на голове до «штучных» серых брюк, заправленных в сапоги.



Теперь я, конечно, понимаю, что сапожник Шолом был попросту толстый добряк, и на рабочем столике у него всегда лежало несколько леденцов для детей. Но как можно было осмелиться подойти к человеку, который запросто вынимал изо рта очередной гвоздь и одним ударом вбивал его в подметку башмака, предварительно надев его на специальный металлический костыль?!

История, которую я хочу рассказать, произошла теплым августовским вечером, в то время, когда большинство обитателей Песков выходили посидеть на лавочках около своих

ворот, чтобы перекинуться парой-тройкой фраз о том, что уже случилось или должно было непременно случиться.

В этот вечер достоянием гласности стало сообщение о том, что сапожник Шолом шестидесяти двух лет от роду ушел от своей жены Брайны, прожив с ней почти сорок лет и имея от нее трех сыновей, двое из которых погибли во время войны.

Мы, мальчишки, с жадным любопытством следили за развитием событий. А почтенные дамы из района Песков сообщали друг другу все новые и новые подробности бегства сапожника. При этом одни уверяли, что он старый бандит и развратник, другие же утверждали, что от Брайны уйдет любой, даже такой кроткий и терпеливый человек, как ее муж.



Вскоре разведка донесла, что сапожник Шолом ушел к жившей до сих пор одиноко глухой Асе, которой к тому времени перевалило уже за пятьдесят.

Дом глухой Аси стоял как раз напротив дома Шолома, и, когда он работал, между тополями просматривались аккуратные занавески Асиных окон. Кое-кто стал было говорить о ворожбе и злых чарах, но общественность начисто отменяла эти предположения из-за их несостоятельности и несоответствия духу времени. Стали ждать, что же будет дальше.

Три дня Шолом не показывался на улице. На четвертый он вышел из дома глухой Аси со своей кожаной табуреткой, вытащил из калитки рабочий столик, перенес все это через дорогу и

уселся на обычном месте. Соседи удивились. Но еще больше подействовал на всех вид Шолома. Он был в белой рубашке, наглаженных брюках и начищенных до блеска мягких сапогах.

Побежали сказать Брайне.

Я помню, с каким достоинством она вышла из дома, но, увидев наряд Шолома, заломила руки и выбежала на середину улицы.

– Люди добрые, вы посмотрите на этого молодого и во что он сегодня вырядился! Ё – запричитала Брайна. – Вы посмотрите на эту старую развалину, которая, горе мне, окончательно выжила из своего ума!

Нас, детей, тотчас же отогнали от этой шумной сцены, и мы только издалека могли наблюдать, как Брайна долго еще выкрикивала что-то, упав на колени и ударяя кулаками по булыжной мостовой.



Шолом между тем безмятежно сиял в своей чистой рубашке и время от времени посматривал на занавешенные окна дома напротив.

Пошли слухи, что Брайна написала сыну.

Слухи подтвердились, когда через несколько дней на Песках появился подтянутый военный летчик в звании капитана. Мальчишки с нашей улицы ватагой маршировали за ним от самого железнодорожного переезда, завидуя его выправке и, конечно же, летной форме. Про-

был в городе он недолго. Видели, как летчик заходил в дом к глухой Асе, а вот о чем они беседовали, никто так и не узнал.

После его отъезда все осталось по-прежнему.

Шолом работал на своем привычном месте. Брайна выходила еще несколько раз поскандалить, а потом стала делать вид, что не замечает изменника.

Наступила зима. Улицу завалило неуклюжими сугробами. Шолом в теплом полушубке и вечно засаленной своей кепке выходил расчищать дорожку около дома глухой Аси. Расчистив ее и основательно утрамбовав, он переходил через дорогу и махал деревянной лопатой около бывшего своего жилья. Брайна на улице не показывалась.

Дни тянулись за днями. Забот у обитателей Песков было достаточно, и интерес к уходу сапожника Шолома от прежней своей жены постепенно угас. Случай вновь заставил его вспыхнуть.

Произошло это, когда зазеленели тополя, а воздух стал чистым и по-майски вкусным.

Шолом только что закончил красить в темно-красный цвет калитку Асиного дома и перешел, как обычно, на противоположную сторону с ведром краски и кистью наперевес. Он запел длинную, неторопливую песню и успел нанести только несколько первых мазков, как из дверей его бывшего дома на крыльцо вышла почтальонша.

– Шолом, – сказала она, – зайдите, пожалуйста, к Брайне.

Шолом вошел в дом и увидел лежащую ничком на полу свою бывшую жену. Рядом с ней белел бланк телеграммы.

Соседи, собравшиеся на улице, стояли молча и только вновь подошедшим тихо, почти шепотом объясняли, что сын Брайны и Шолома разбился в одном из учебных полетов.

Тело его привезли спустя несколько дней в гробу, обтянутом красной материей. Сверху положили летную фуражку. Музыканты играли траурный марш. День был тусклый. Над городом нависали серые фабричные дымы.

Шолом шел за гробом и мял в руках кепку. Ветер шевелил его редкие седые волосы. Брайне стало плохо, и ее везли на машине позади процессии.

Чуть поодаль от Шолома, низко наклонив голову, шла глухая Ася.

После похорон Брайна слегла. Шолом остался с ней. Он ходил по магазинам и в аптеку, готовил еду, мыл пол.

Я видел, как глухая Ася несколько раз переходила улицу, останавливалась перед калиткой, но войти в дом не решалась.

Однажды она принесла с рынка полную корзину свежей зелени и постучала в окно. Шолом раздвинул занавески, выглянул наружу и через минуту вышел на улицу. Мы с ребятами гоняли по тротуару, расчерченному мелом, банку из-под гуталина и стали невольными свидетелями их встречи.

Они стояли молча, взявшись за руки. Нам, конечно, было тогда невдомек, что за чувство блеснуло яркой зарницей на закате дней у этой странной пары, вызвавшей столько сплетен и пересудов. И все же было в них нечто такое, что заставило нас прекратить игру, замереть вместе с ними, чтобы ничем не потревожить это мимолетное свидание. Так они и запомнились мне, стоящими держась за руки в тени густых тополей, спасаясь от молодого июльского солнца.



Потом глухая Ася протянула ему корзину и тихо сказала:

– Возьми, прошу тебя.

– Спасибо, – так же тихо ответил Шолом.

Глухой Асе не требовалось кричать, если слова произносить внятно, она все читала по движущимся губам.

Вскоре мои родители переехали из этого района в другой, ближе к центру, и я лет десять, наверное, не показывался на Песках. А когда волей случая мне снова пришлось там побывать, эту часть города было уже не узнать. Гудели шумные грузовики, везя на широких платформах серые бетонные плиты. Натужно ворочались экскаваторы, вгрызаясь в землю. Вдоль тополей тянулась глубокая траншея, по бокам которой лежали толстые трубы. Та сторона, на которой находился когда-то дом сапожника Шолома, была снесена начисто. Шла реконструкция.

Но с противоположной стороны все пока оставалось по-прежнему. Так же мирно стояли маленькие домики, так же незыблемо выстроились в линию почерневшие от времени заборы. И вдруг вдоль этих заборов я увидел медленно идущую со стороны железной дороги глухую Асю. Бог мой! Как же она постарела, как безжалостно согнули и уменьшили ее прожитые годы. Я подошел к ней. Возможно, это было не очень тактично с моей стороны, но уж слишком ошеломили меня перемены вокруг.

– Здравствуйте, – сказал я, стараясь выговаривать каждый слог как можно более четко.

Она посмотрела на меня и, конечно же, не узнала.

– Вот здесь когда-то работал сапожник Шолом. Где он? Что с ним стало?

Ася повернула голову и посмотрела на то место, где так привычно стоял прежде рабочий стол и кожаная табуретка.

– Умерли, – сказала она тихо, – вначале Шолом, а потом Брайна. Шесть лет после того, как не стало Шолома, я ухаживала за ней, но, – вздохнула она, – разве со смертью поспоришь?

Шумели вокруг машины, грохотал ковш экскаватора, переругивались в траншее двое рабочих.

– Сколько? – переспросил я. – Шесть лет?

– Глухому два раза обедню не служат, – сердито ответила Ася и толкнула калитку с облупившейся красной краской, которую когда-то давным-давно ей покрасил маленький и круглый, как пивной бочонок, сапожник Шолом.

## Монче

Имени его никто не помнил, да и сам он, пожалуй, тоже. Вернулся он с Первой мировой дважды Георгиевским кавалером. Потом в городе каким-то образом узнали, что при форсировании водной преграды рядом с ним разорвался снаряд, и Монче хотя и выплыл, но лишился рассудка.

Старенькая его мать умерла вскоре после возвращения сына, и он остался один в обветшалом доме, который тихо прятался среди бурно разросшегося кустарника.

Солдаты пана Пилсудского, хозяйничавшие несколько месяцев во время Гражданской войны в нашем городе, Монче не тронули. Он даже ходил смотреть, как они отступают, и его высокая сутулая фигура путалась среди грохочущей массы бегущих войск.

Не тронули Монче и хмурые милиционеры, восстанавливающие порядок на полусоженных улицах. Они старались не замечать, что на его заношенном кургузом пиджаке сверкали всегда начищенные до ослепительного блеска два старорежимных Георгиевских креста.



Даже мальчишки – вечная гроза болезненных бродяг – Монче щадили. Лишь иногда окликали они его посреди улицы и грозно вопрошали:

– Номер вашей винтовки?

– Тысяча двести восемьсот сорок два, – чеканил в ответ Монче, вытягиваясь по стойке «смирно».

Номер этой винтовки спас однажды от провала заезжую знаменитость, блиставшую в жанре модного по тем временам сценического гипноза. На своем единственном сеансе мастер по наведению транса приглашал на сцену всех желающих и проделывал с ними невероятные вещи. Кто-то плавал прямо на дощатом полу сцены, кто-то собирал там же несуществующие цветы, и все вместе объяснялись в любви маэстро – мужчине усатому и в годах.

На сцену, позвякивая своими наградами, вышел Монче.

– Ваша рука – палка, она не сгибается, – приказал гипнотизер, глядя ему в глаза.

Монче виновато улыбнулся и согнул руку. Гипнотизер несколько раз безуспешно повторил свое приказание. В зале зашумели. Положение спас местный импресарио, с трудом уговоривший маэстро посетить наш город. Он попытался что-то объяснить, потом махнул рукой и взобрался на сцену.

– Номер вашей винтовки? – гаркнул он зычно, как на параде.

– Тысяча двести восемьсот сорок два, – вытянувшись во фрунт, гордо доложил Монче.

Оценив положение, маэстро прочел экспромтом небольшую лекцию о том, почему гипноз не действует на умалишенных, и на этом представление закончилось.

Монче стал героем дня.

– Ваша рука – палка! – кричали ему мальчишки, загоразивая дорогу.

Монче показывал им руку, потом сгибал ее и с виноватой улыбкой прятал за спину.

Первая бомба Великой Отечественной упала на наш город через неделю после того, как началось немецкое вторжение. Попадание было прямо в центр опустевшего уже рынка. В воздух взлетели обломки деревянных рядов, булыжник и конский помет. А над воронкой еще долго кружились обуглившиеся клочки соломы.

Вскоре началась эвакуация. Вереницы машин тянулись по направлению к Москве. Двери опустевших учреждений хлопали от сквозняков. Повсюду валялись кипы ненужных бумаг, опустошенные ящики письменных столов и осколки разбитых окон.

– Едем с нами, – говорили Монче. – Тебе нельзя оставаться, тебя убьют.

Но он лишь улыбался, качал головой и продолжал свои бесконечные прогулки по стремительно пустеющим улицам.

Когда немецкие танки начали с грохотом ползти мимо городских домов, соседи спрятали Монче в сарае. Два дня он покорно просидел там. Какая-то незнакомая женщина приносила ему еду и исчезала. Сквозь щели в досках пробивался солнечный свет. Монче лежал на старом одеяле, накинутом поверх свежераспиленных дров, и робко улыбался тонким лучам, заглядывавшим к нему в гости.



На третью ночь он услышал неподалеку крики и редкую стрельбу. Крики насторожили Монче. Он попытался открыть дверь сарая, но она была заперта. Тогда он нашел в стене несколько самых тонких досок и начал методично их раскачивать. Через некоторое время одна доска, а за ней другая медленно со скрипом поддались. Монче с трудом протиснулся в узкий проход и прислушался.

Где-то совсем рядом раздавались отрывистая немецкая брань и негромкие женские причитания. Монче обогнул сарай, прошел через поросшие зеленью огороды и вышел во двор дома, где солдаты выволакивали на крыльцо старика, до глаз заросшего бородой, и седую, с трясущейся головой старуху. Один из вояк ткнул старика прикладом автомата в спину, и тот, охнув, свалился как подкошенный. Старуха истошно закричала, и второй немец занес было над ней свой приклад, но тут из темноты метнулся пружинистой пантерой Монче.

Он вцепился солдату в горло, и оба рухнули на землю. Остальные немцы засуетились вокруг, но стрелять не решались, боясь попасть в своего. Схватка длилась недолго, солдат захрипел и обмяк. Монче оттащили и оставили лежать на земле.



Он поднял руки к лицу и размазал по щекам что-то липкое и теплое.

– Кровь, – сказал он, приблизив пальцы к глазам, – моя кровь.

Затем он посмотрел сквозь пальцы вверх и, должно быть, впервые за много лет осознал, что перед ним небо, усеянное звездами.

– Звезды, – сказал Монче.

Что-то, давно погребенное в сумерках сознания, медленно возвращалось к нему. Он прижался щекой к земле и понял, что лежит на влажной ночной почве.

– Земля, – сказал Монче и заплакал.

Георгиевские кресты, с мясом вырванные из пиджака, блестели в траве. Он протянул к ним руку, но на ладонь наступили кованым сапогом. Монче поднял глаза. Прямо над ним стоял солдат, передергивающий затвор автомата. В проеме его ног Монче опять увидел звезды и, радостно узнавая, улыбнулся им.

Солдат нажал на курок. Звезды погасли.

## Саса-Шпутник

Редко кто в нашем маленьком городе обходился без прозвища. Как-то же должны были люди выделяться из общей массы.

У Саши, который работал закройщиком в местном ателье, прозвища не было. Да и зачем оно человеку, с детства не умевшему выговаривать все эти «Ж», «Ч», «Ш» и «Щ», а потому заменившему их раз и навсегда универсальной буквой «С». Представлялся он, несмотря на преклонный уже свой возраст, всегда одинаково – Саса, и именно так называли его все вокруг.

В Сасе все было каким-то маленьким – и рост, и размер ноги (ходили слухи, что обувь себе он покупал в магазине, где толпились обычно мамы со своими детьми). А руки выглядели у него такими короткими, что метр, которым обмерял он габариты заказчиц, казалось, намного превышал величину хранящегося в Париже эталона. И все же именно Саса считался лучшим закройщиком города. За право заказывать свои наряды у него боролись все местные дамы – от юных красоток до жен высокопоставленных особ. Ведь кроме своего отменного мастерства закоренелый холостяк Саса был еще очень галантным кавалером. Задержнув шторку в примерочной, он обычно говорил так:

– Мадам, у меня *исе* не было такой *закасиси*, вы *лусея*. *Тесное* благородное.



Если волей судеб в его руки попадала клиентка, до сих пор еще незнакомая с лучшим закрыщиком города, она, естественно, долго не могла понять, за какие такие «сиси» этот маленький человек обозвал ее «лусей» и почему его «благородное» оказалось таким «тесным».

Когда наш город подвергся тотальной телефонизации, у Сасы появился прекрасный шанс скрашивать по вечерам свое одиночество. Набрав номер очередного собеседника, он вместо приветствия обычно спрашивал:

- Ты меня уснаес?
- Конечно, нет, – отвечал на том конце провода какой-нибудь шутник.
- Странно, – искренне удивлялся он, – это се я, Саса.

Время шло для него как-то незаметно. Впрочем, именно так оно шло для большинства жителей Бобруйска. Ну, казалось бы, зима, ну, лето, ну, появились на рынке к первому сентября роскошные букеты огненных гладиолусов. Ну, умер, наконец, любимый вождь товарищ Сталин. («Умер не умер, лишь бы был здоров», – говорили на всякий случай осторожные бобруйчане). Ну, назначили нового любимого вождя. Ну, расстреляли бывшего преданного слугу народа. Но поскольку глобальных перемен вокруг вроде бы не наблюдалось, то мерилom времени становился не календарь, а зеркало. Уж оно точно и без всякой жалости фиксировало

изменения, которые возраст накладывал на лица моих сограждан. Впрочем, к Сасе это практически не относилось. Его внешний вид оставался таким же, как с десятков лет назад, когда, вернувшись с Великой Отечественной, он устроился в местном ателье, вспомнив свою довоенную специальность. Тот же маленький рост, тот же юношеский фальцет, те же круглые очки, поднятые на лоб, а надо всем этим густым веером торчали в разные стороны совершенно седые волосы. Про свои два ранения, пять медалей и три ордена распространяться Саса не любил, но местные острословы утверждали, что служил он радистом в разведоте и ему специально приказывали не шифровать свои послания в эфире, поскольку немцы, безуспешно пытаясь разгадать, что же такое произнес их противник, теряли присутствие духа, после чего их можно было брать голыми руками. Саса не обижался. Только один раз, когда заезжей журналистке посоветовали именно у него взять интервью для радиопередачи к очередной годовщине Победы, он молча захлопнул дверь перед самым ее носом. Правда, вечером он все же разыскал гостиничный номер, в котором та остановилась.

– Я не мастак рассказывать, – произнес он извиняющимся тоном, – но я могу, если хотите, вас *обсывать*.

Поскольку журналистке никак не могло прийти в голову, что «обсывать» означает «обшивать», а вовсе не «обзывать», как она, естественно, предположила, то Саса был тот час же изгнан из номера, а сама труженица пера в глубокой задумчивости поспешила уехать из нашего показавшегося ей несколько странным города.

Вскоре после этого случая Саса собрался на пенсию. Когда все документы были оформлены и сослуживцы отметили его уход на небольшой дружеской вечеринке, Саса почувствовал себя вольным как птица. Он принес домой и поставил на видное место электрический самовар, на крышке которого было выгравировано: «Дорогому товарищу Александру Гомзину в память о совместной работе». Вечером, когда Саса зажигал свет, самовар тускло отсвечивал боками, как настоящий солидный приз. Глядя на него, Саса начал постепенно сознавать, что он потерял. Потерян был мир, где за бархатными шторками примерочной женщины без стеснения доверяли ему свои достоинства и недостатки. А он, пританцовывая вокруг них и замеряя все соблазнительные впадины и не менее соблазнительные выпуклости, как истинный творец, давал их фигурам, балансирующим на грани 120х120х120, ощущение вождельных 90х60х90, таящихся в особых линиях изобретенного им кроя.

Грустил он недолго. Сделал полную профилактику швейной машинке марки «Зингер», единственному военному трофею, привезенному из далекой Пруссии, позвонил паре-тройке бывших клиенток, и вскоре к его дому стали спешить, как на заветное свидание, самые известные дамы нашего города. Саса чувствовал себя на вершине блаженства. То, что его заказчицы с готовностью отдавали свои тела трепетным касаниям Сасы, измерявшего все подробности их фигуры, не в казенных кабинках ателье, а прямо посреди его собственной квартиры, доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Но вершиной этого наслаждения становился очередной наряд, подчеркивавший именно те прелести, которые он хотел подчеркнуть, и скрывавший именно те недостатки, которые собственной волей он мог скрыть от любого самого придирчивого глаза. Дело дошло до того, что с изнанки в самом низу подола Саса стал вышивать собственные инициалы, подражая знаменитым художникам, желавшим донести до потомков авторство своих произведений.

Так бы и продолжалась дальше его жизнь, наполненная радостным служением прекрасному полу, но случилось событие, которое полностью перевернуло все его существо. Событием этим стал запуск первого искусственного спутника Земли.

Сасу словно подменили. Милые дамы все реже и реже стали появляться около его дома. Впервые за долгие годы он пропускал срок выполнения заказа, отодвигая его на неопределенное время. Он стал не то чтобы небрежен, нет, мастерство его ухудшить было уже невозможно, но интерес ко всем этим рукавам в три четверти, плиссированным юбкам и стоячим воротни-

кам у него угас настолько, что знающие его дамы готовы были предположить самое для себя страшное – Саса влюбился. Если бы только они могли знать, что стало предметом, целиком захватившим его чувства?!



Саса расхаживал по городу и жадно ловил все разговоры, в которых упоминался спутник. Октябрь в тот год выдался холодным и дождливым, но даже осеннее ненастье не могло удержать Сасу от ежедневных вылазок на рынок, где около магазина, торговавшего хозяйственной утварью, обсуждались все значимые мировые новости. Ему просто необходимо было делиться со знакомыми и незнакомыми людьми переполнявшим его чувством.

– Вы только подумайте, увасаемый, – крутил он пуговицу на пальто очередной своей жертвы, – как быстро вертится этот сарик. Минута – Киев, минута – Ленинград, минута – Кисынев, минута – Таскент... – и умолкал, глубоко потрясенный свершившимся.

Запуск спутника, казалось, изменил какие-то незыблемые устои его жизни. С одной стороны, это был восторг перед маленьким чудом, посылавшим со своей орбиты приветственные сигналы, а с другой... Саса вдруг неожиданно для себя судорожно ощутил, что над привычным миром его ежедневных занятий нависла черная бездна вселенной, такой же одинокой, как и он сам, а спутник, словно метка на белье, обозначил неведомый доселе космос.

Душевное смятение его было настолько сильным, что Саса впервые в жизни внятно произнес букву «ш». Правда, случилось это в одном-единственном слове, которым, по иронии судьбы, оказалось слово «спутник», где буква «с» была заменена на прорвавшуюся неожиданно букву «ш».



Естественно, меткие на язык земляки не могли не заметить этой разительной перемены, и Саса, как всякий порядочный человек, удостоился наконец своего прозвища, незамедлительно внесенного в анналы местной истории.

Если вам когда-нибудь удастся побывать в нашем городе, непременно посетите старое еврейское кладбище, что находится по правую сторону Минской улицы, ведущей от центра к окраине. В глубине его, почти у самого забора, вы увидите холмик, на котором установлена небольшая табличка. На табличке написано «Гомзин А. Е. 1891-1958», а в самом ее низу золотой краской, теперь уже, правда, порядком потускневшей, старательно, как знак отличия, выведено: «Саса-Шпутник».

Так великое время, едва коснувшись крылом тщедушного закройщика, навсегда оставило на нем одну из самых ярких своих примет.

Старожилы утверждают, что над его могилой кладбищенские деревья скрипят под порывами ветра как-то по-особенному, и если прислушаться, то можно различить взволнованный голос Сасы, повторяющий нараспев: «Минута – Киев, минута – Ленинград, минута – Кысьнев, минута – Таскент».

Свидетельствую в здравом уме и твердой памяти: однажды и мне довелось услышать этот странный речитатив.

## Счастье Лашкевича

Если вы хотите знать, почему Илюшу Лашкевича по прозвищу Рыбий Глаз стали называть Илюша-счастливчик, тогда слушайте.

У Илюши Лашкевича оставался ровно год до того момента, когда жизнь его должна была перевалить за тридцатилетний рубеж. Встретить приближающуюся годовщину он хотел, реализовав два своих самых сокровенных желания. Первым было – вступить в партию, вторым – жениться. Впрочем, можно было и наоборот: вначале жениться, а потом уже подавать заявление в существовавшую тогда еще КПСС. Рассматривался и третий вариант – сделать все это одновременно, но выглядел он совсем уж фантастически, потому что, честно говоря, шансов на реализацию своих сокровенных желаний, в каком бы порядке они ни выстраивались, у него к тому времени практически не было.



Илюша жил один в добротном доме с резными наличниками, во дворе которого находился гараж. В гараже стоял маленький горбатый «Запорожец». Это был великодушный жест старшего брата, оставившего ему свою машину, после того как сам он с женой и двумя детьми решил выяснить: отличается ли чем-нибудь город Сидней в далекой стране Австралии от города Бобруйска, где они с Илюшей родились, выросли, потеряли родителей и вконец поссорились, как любил говаривать Илюша, «по идейным соображениям». По этим же соображениям он перестал отвечать на письма брата, который гарантировал ему в Австралии райскую жизнь.

Но богатое наследство молодого Лашкевича – дом, гараж да еще (по тем временам) машина!!! – не трогало почему-то сердца местных невест. Может быть, все дело заключалось в том, что Илюша был сложен как-то очень уж непропорционально: то ли туловище его казалось чересчур большим по сравнению с головой, то ли голова выглядела чересчур маленькой по сравнению с туловищем. К тому же к этой маленькой голове был прикреплен выдающихся размеров нос, а близко посаженные выпуклые глаза не то что бы отталкивали собеседника, но при взгляде на них почему-то всегда хотелось стыдливо отвернуться. Возможно, по этой причине и прилипло к нему прозвище Рыбий Глаз.

Верно оценив все достоинства и недостатки своей физиономии, Илюша решил начать подготовку к юбилею не с поиска невесты, а со вступления в партию, которой, как он полагал, было глубоко наплевать на его внешность.

На заводе Сельхозагрегат имени Клары Цеткин, где он работал сборщиком кормозапарников, необходимых для кормежки рогатого скота всех окрестных колхозов и совхозов, к его намерению отнеслись крайне негативно. Когда Илюша начал приставать к местным коммунистам с просьбой написать ему рекомендацию в партию, одни, памятуя об отъезде брата в логово капиталистического врага, бежали от него как от чумы, другие, имея в виду его национальность, отмахивались от него, как от назойливой мухи. Все это в конце концов чуть было не привело к весьма печальным последствиям.

Заведующий инструментальным складом, услышав, как во время перекура Илюша жаловался на свою судьбу, посоветовал ему взять рекомендацию у сварщика Тимченко, который, впрочем, всегда находился несколько в стороне от любых коллективных мероприятий.

– А он даст? – с недоверием спросил Илюша.

– Он всем дает, – заверил заведующий складом, – партия для него как мать родная.

– С чего бы это? – все еще сомневался Илюша.

– Она вырастила и воспитала его, – с неподдельным пафосом произнес заведующий. – Теперь он один из самых активных и уважаемых ее членов.

На следующий день Илюша Лашкевич набрался храбрости и зашел под навес, где Тимченко приваривал крепежные петли к корпусам для все тех же кормозапарников, которых с таким нетерпением ждал рогатый скот, не желавший без них повышать свои удои.

– Товарищ. – Илюша тронул за плечо своего будущего коллегу по партии.

– Чего тебе? – Тимченко, опустив маску, прикрывавшую лицо, и увидев, кто именно отрывает его от работы, разразился таким виртуозным набором ненормативной лексики, какого Илюше, несмотря на давнее членство в рабочем коллективе, до сих пор слышать не приходилось.



Илюша, увы, не знал, что Тимченко всего год назад вернулся из мест не столь отдаленных. Не знал, что бывал он там уже не раз и что последняя его ходка была связана с избиением одного видного партийного чиновника, в котором Тимченко признал уполномоченного, в двадцатых годах раскулачившего и сославшего в Сибирь его семью.

– Мне бы рекомендацию, – робко попросил Илюша.

– Какую еще... (здесь я вынужден опустить несколько предложений) рекомендацию?

– В партию.

– Ты, Рыбий Глаз, адресом не ошибся? – после небольшой паузы, вызванной потрясением от услышанного, спросил Тимченко, на шаривая рукой обрезок трубы.

– Нет, – ответил Илюша и вспомнил слова заведующего складом, – ведь партия ваша мать, а вы верный и активный ее член.

Такого общественно-политического извращения Тимченко вынести уже не мог.



Спасло Лашкевича только то, что на сварщике была брезентовая роба, затруднявшая его движения, и Илюше первому удалось добежать до проходной завода. Тогда-то сердобольный вахтер и произнес впервые в его адрес это слово: «Счастливчик».

С членством в партии после злополучной попытки получить рекомендацию пришлось повременить, поэтому первым пунктом повестки дня стал значиться вопрос обретения брачных уз. И здесь в центре внимания волею случая оказался тот самый автомобиль марки «Запорожец», который старший брат, переехавший в город Сидней, не пожелал включить в перечень вещей, отправляемых им на незнакомый континент.

Машина стояла в гараже, выходившем своими воротами на улицу Коминтерна, в просторье называемой Пески. Но примечательна эта улица была не тем, что там находился гараж Лашкевичей, а тем, что почти напротив него красовалось фанерное строение, покрашенное в синий цвет. Строение имело двери, а над дверьми вывеску. На вывеске значилось: «Парикмахерская. Филиал № 3». Зимой «Филиал № 3» был наглухо заколочен, а летом распахивал свои двери и начинал жить беспокойными буднями, наполненными борьбой за выполнение финансового плана. Борьбу эту вела старая дева по прозвищу Зинаида-полубокс. Дело в том, что, какую бы форму прически ей ни заказывали привередливые обитатели Песков, в конечном счете получалась та единственная модель, которая носила незатейливое название «полубокс».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.